

Александр Эртель

Липяги



Александр Иванович Эртель

Липяги

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661845

А. И. Эртель. Избранное: М.; 2011

Аннотация

«В Липягах лес, давший название усадьбе, еще уцелел и радушно принял меня под свою ароматную тень. Правда, он был не велик, но почтенный объем деревьев говорил о его долговечности. Веселые птицы порхали и пели в его веселых душистых листьях, и ласковый ветер шаловливо трепетал в них. Было в нем и тихо и таинственно. Просека, на которой, переплетаясь, сводом висели ветви, вела к усадьбе. А усадьба, по обыкновению, сидела на пригорке и смотрелась в реку...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

22

Комментарии

Александр Иванович Эртель Липяги

Однажды в мае велел я заложить Орлика в дрожки и отправился в Липяги. Я еще ни разу не был в Липягах. Владельцы этого имения познакомились со мною недавно. Впрочем, и самое знакомство это до того оригинально, что я расскажу о нем читателю.

Был март месяц, и начиналась ростопель. Лог, около хутора моего, тронулся и образовал опаснейшие зажоры. И вот в одну из этаких-то зажор, в один тусклый и сумрачный полдень, застрял тяжелый и неуклюжий барский возок. Ко мне на хутор прибежал кучер, по пояс мокрый, и «Христом-богом» просил помощи. Вместе с этим просил он и захватить с собою какого-либо «средствия», ибо барыня, находившаяся в возке, по его словам, «сомлела». Взял я «средствие», захватил с собою ребят и лошадей и отправился к логу. Истерический и, по правде сказать, чрезвычайно визгливый женский голос еще издали призывал на помощь. Кучер заявил, что барыня очнулась, потому кричит она... Я принял к сведению.

Спустившись в лог, мы увидели такую картину. Лошади сидели по шею в снегу, насыщенном водою, и от времени до

времени прядали ушами и недовольно фыркали. Возок глубоко врезался в зажору и точно заклеился... В окне возка, пытаясь вылезть, застряла толстая барыня и теперь, что есть силы упираясь руками в рамки окна, кричала благим матом. Толстое лицо ее, сильно покрасневшее от натуги, являло вид неизъяснимого испуга и было смешно до крайности... Ее с самого начала высвободили и, рыдающую и дрожащую всеми членами, увезли на хутор. Но в возке еще оказалось существо. Это был низенький и худенький мужчинка в огромной медвежьей шубе и в картузе с желтым уланским околышем. Кучер объяснил мне, что это барин. Впрочем, и сам барин не замедлил отрекомендоваться мне, лишь только ступил на твердую почву. Звали его Марк Николаевич Обозинский. По своем освобождении из возка он неоднократно горячо и порывисто жал мне руки, но говорить почти ничего не говорил и только иногда, разводя руками, в какой-то рассеянности произносил: «Вот!...» Впрочем, он совершенно не был испуган, но вообще казался странным. То долго и недвижимо стоял он на одном месте, упорно устремляя взгляд свой в пространство, то ни с того ни с сего начинал суетиться, топотал ножками, горячился, плевался и изъяснял неудержимое стремление к действию... Имел он, разумеется, чин штабс-ротмистра в отставке, и ему принадлежали Липяги.

Когда, высвободивши, наконец, из зажоры возок и лошадей, мы с Марком Николаевичем приехали на хутор, барыня уже успела несколько прийти в себя и сидела за чаем, кото-

рый, с грехом пополам, наливала ей кухарка моя Анна. Она объявила мне, что зовут ее Инной Юрьевной, что она урожденная княжна Чембулатова, и затем, что она до гроба, до гроба не забудет моей услуги... Тут воспоминание о зажоре снова разволновало ее, и с нею снова сделался легкий истерический припадок. Марк Николаевич в присутствии супруги держал себя неуверенно и робко жался около стенки. Но ему, бедному, все-таки пришлось испытать бурю. Оправившись от припадка, Инна Юрьевна стремительно напустилась на него. Она разразилась градом упреков. По ее словам, он был злой, неблагодарный человек, – человек, который в грош не ставит ни ее спокойствия; ни здоровья... Он был бы рад, – патетически восклицала она, всплескивая руками, – был бы рад довести ее до гроба, чтобы с еще большею наглостью, с еще большею бессовестностью тунеядствовать, убегать от дела и разорять дочь... О, она знает его идеалы!.. Она знает – ему бы строить да строить церкви, лежать бы да молиться, да беседовать с попами... О, зачем она, княжна Чембулатова, не пошла за шибая, за кулака, она была бы счастлива, она была бы несомненно счастливей, чем за этою хилою отраслью древнего рода... Но пусть он знает, что назло ему она будет жить, будет жить для дочери, для милой своей Любы, и на всю его злобу к ней, на всю ненависть ответит только презрением... Да, презрением! – И с Инной Юрьевной снова сделался легкий истерический припадок.

Марк Николаевич был в полном смущении. Он то рас-

терянно семенил маленькими своими ножками и разводил руками, то жалобно восклицал, обращаясь к жене: «Ах, матушка!..» и затем произносил недоумевающее свое «вот!..», уже неизвестно к кому обращаясь. Эта нерешительность, эти смешные и робкие манеры отставного штабс-ротмистра, кажется, еще более раздражали madame Обозинскую. Она была готова отравить несчастного своими взглядами и, вероятно, только мое присутствие сдерживало ее от еще более откровенных излияний... Я понял это и удалился. Но поняли, должно быть, и меня, ибо тотчас по уходе моем барыня утихла и попросила к себе Анну. Через час меня позвали, и я не узнал Инну Юрьевну. Хотя следы недавнего раздражения все еще были заметны на ее чрезмерно полном лице, но уж тени неприличной экспансивности она не позволяла себе. А между тем Марк Николаевич был тут, и манеры его, несмотря на усилия, все по-прежнему были робки и нерешительны. Правда, обращалась с ним Инна Юрьевна с холодностью и иногда даже бросала на него пренебрежительные взгляды, но и только. Она вошла в свою колею вполне приличной дамы. Приветливая, но вместе с тем и сдержанная улыбка не сходила с ее полных, густо румяных губ. Манеры поражали мягкостью. Французские слова уснащали речь.

Предо мною она рассыпалась в тысяче обворожительных фраз. Она никогда не забудет, чем обязана мне. Я ее осчастливлю, если приеду к ним в Липяги. Марк Николаевич тоже будет очень рад, (Марк Николаевич раскрыл рот и хотел

изъяснить что-то, но только и успел, что растерянно улыбнуться.) Для них не будет более дорогого гостя. И она удивляется, как не знакомы они до сих пор со мною.

– Вы, конечно, знаете наше имение?

– О да, я знаю Липяги.

– Вы знаете, как летом там хорошо... Река, сад, дом – надеюсь, не без удобств... И мы вас просим, убедительно просим вас посетить наше убежище... Не правда ли, вы приедете?.. Марк Николаевич тоже вас просит... (Марк Николаевич кланялся и, смущенный, шептал что-то. Он уже снова успел забиться в уголок.) У нас бывают, – продолжала Инна Юрьевна. – Мы имеем порядочное общество... (Французские слова я перевожу.) Мы познакомим вас. У меня дочь, Люба, Любовь Марковна, дитя еще, но она читает... Она уже не стеснит, не может стеснить развитого человека... Вы, надеюсь, останетесь довольны нашим домом... – И затем опять перешла к дочери: – О, я большая либералка!.. Я понимаю весь вред этих институтов там... Люба моя счастлива: я взяла ее из третьего класса и сама (на этом слове она сделала легкое ударение), сама составила ее воспитание... Вы понимаете, как это трудно у нас в России!.. Мне приходилось самой учиться, самой повторять старое, давно позабытое, и притом, ах мой бог, как учили нас в наше темное, безрассветное (она снова сделала ударение) время!.. «Мы все учились понемногу...» знаете?.. Конечно, я читала, я путешествовала, я была в Англии – ах, милая, милая Англия! – и

я довольна!.. Вот вы увидите. Вы увидите, что это за милое, что за развитое дитя...

Инна Юрьевна немного важничала и вела разговор, несколько уж чересчур разнообразя интонацию. В мое отсутствие она успела переодеться и теперь, уютно расположившись в углу моего дивана, красиво драпировалась в складки своего дорожного платья, сшитого из той «простенькой» материи, которая так больно кусается, преображенная в чудо изящности французенкой модисткой.

Марк Николаевич все время разговора нашего что-то такое бормотал себе под нос, вероятно изображая в лице своем тоже собеседника; когда же Инна Юрьевна остановилась на мгновение, он настойчиво и неоднократно произнес, обращаясь ко мне:

– Рад, рад, рад... Прошу... тово... Просим... а?.. Я от души, тово... И Люба...

Пока прошел, наконец, злополучный лог, протянулось три дня. Эти три дня Обозинские прожили на моем хуторе. Оказалось, ехали они из Воронежа, где в местном отделении одного поземельного банка «перезакладывали» Липяги. Поехали же мимо хутора моего по совету Марка Николаевича, который как-то вспомнил, что тридцать лет тому назад он, тоже в ростопель, ехал по этой глухой дороге и проминовал ее благополучно, между тем как дорога большая и в то время изобиловала зазорами... Вот почему и вылилось на несчастного столько упреков.

Хуторское житье чрезвычайно понравилось Инне Юрьевне. Новая, еще никогда ею не изведенная обстановка; глушь и тишина кругом; скромное, неприхотливое хозяйство – все приводило ее в восторг. Как институтка времен венгерской кампании, восхищалась она, наливая кофе из посуды, доставшейся мне чуть ли еще не от деда моего, ветерана двенадцатого года, или прибирая волосы перед зеркалом, все размеры которого не превосходили ладони... Грубые, некрашенные полы; разнокалиберная мебель; отсутствие ковров и обоев на стенах; ярославское белье на столе, хлеб без корзины и ножи с деревянными ручками – все это казалось ей превеселой идиллией, сценой из «Германа и Доротеи»^[1]... Нет сомнения, пресыщенная барыня так и выглядывала из всех этих восторгов. Что касается Марка Николаевича, то он с утра до вечера спал как сурок, а добрую половину ночи молился и читал акафист «Сладчайшему Иисусу».

Вот история моего знакомства с Обозинскими.

...Итак, я отправился в Липяги.

Ольховки да Березовки, Поддубровки да Осиновки, изобилующие в нашем краю, несомненно свидетельствуют о дремучих дубровах и темных лесах, имевших место в нынешней степной стороне еще в недавние времена. И ныне вы можете встретить старожилов, которые расскажут вам, как на месте теперешних буераков в Березовке высился стройный белый лес, а в Ольховке росла «здоровенная» роща там, где теперь сочится зловонное болото и жалобно рыдают чи-

бески. Не то Обозинские Липяги. В Липягах лес, давший название усадьбе, еще уцелел и радушно принял меня под свою ароматную тень. Правда, он был не велик, но почтенный объем деревьев говорил о его долговечности. Веселые птицы порхали и пели в его веселых душистых листьях, и ласковый ветер шаловливо трепетал в них. Было в нем и тихо и таинственно. Просека, на которой, переплетаясь, сводом висели ветви, вела к усадьбе. А усадьба, по обыкновению, сидела на пригорке и смотрелась в реку. Место было вообще хорошее и веселое. За домом и флигелями, по-видимому недавно покрашенными и недавно же принявшими особенно праздничный вид (я вспомнил о ссуде, тоже недавно взятой), зеленелся и белелся цветущий сад, широко раскинутый по склону пригорка и по отлогому берегу реки убегавший далеко. За рекой расстилалась однообразная даль, зеленели луга и смутно чернелись деревни. В стороне от усадьбы весело и стройно воздвигалась белая церковь, окруженная свежим выгоном, а из-за церкви беспорядочно выглядывал поселок. Он едва был виден теперь за ракетами своих гумен и за липами леса. В другую сторону, и тоже далеко от усадьбы, желтелась барская рига, чернели и краснели крыши хозяйственных построек. Их было много, но уже издали они казались лишенными того праздничного вида, которым щеголяли постройки надворные. Мне даже показалось, что один, – амбар не амбар, но что-то вроде амбара, – зиял продырявленной крышей, и самая рига вопияла о починке.

Но перед домом все так и блестело исправностью. Тщательно взрыхленные клумбы, в которых теперь всходили цветы, были обложены сочным и пушистым дерном. Дорожки между клумбами усыпаны песком, и на дворе ни соринки... Густая сирень заслонила фасад от дороги и служила живой изгородью.

Весьма приличный лакей, в ливрее тоже очень приличной, ввел меня в светлую залу и оттуда, по надлежащем докладе, проводил к барыне. Инна Юрьевна предстала предомною свежая и величественная. Комфортабельно расположившись в темном уголке будуара, на козетке, вокруг которой вились растения и цвели розы, она казалась и молодой еще и красивой. Прелестное платье (опять из «простенькой» материи) великолепно облегалo ее полные формы, где нужно – ниспадая складками, и где требовалось – напрягаясь подобно парусу, вздутomu ветром. Кончик щегольской туфли лукаво и не без намерения, конечно, выглядывал из-под платья. Лицо Инны Юрьевны, несмотря на свою полноту, поражало интересной бледностью. Слегка подведенные глаза обнаруживали томность.

Она полупривстала мне навстречу и, с обворожительной улыбкой подавая руку, рассыпалась в благодарности. Тут только заметил я господина весьма благообразной наружности, удобно поместившегося на низеньком кресле близ трельяжа. Инна Юрьевна познакомила нас.

– Друг и будущий муж моей дочери, Сергей Львович Ка-

рамышев, — с некоторой гордостью произнесла она.

Я слышал нечто о Карамышеве и теперь с любопытством поглядел на него. От него веяло благовоспитанностью. Начиная от пробора в густых и темных волосах, начиная от безукоризненного белья и простого, но изящного костюма из великолепной китайской материи и кончая узким носком матовых ботинок и розовыми ногтями на продолговатых пальцах удивительно белых рук, все изобличало в нем чистокровнейшего джентльмена. Его бледное лицо, обрамленное небольшою, тщательно выхоленной бородкой, поражало тонкими, правильными чертами и было очень красиво. Правда, монокль в глазу и постоянная, несколько натянутая улыбка придавали этому лицу вид надменности, но вы тотчас же забывали об этом, лишь только раскрывались уста господина Карамышева. Тогда плавно и мягко, с какой-то сочной и ласковой интонацией, очаровывали ваш слух великолепно закругленные периоды, красиво составленные фразы и удачные, выразительные слова. Он говорил, как бы рисуясь своим мастерством, как бы вслушиваясь в звуки своего голоса, и говорил, избегая галлицизмов, избегая французских и английских слов, а напротив, реставрируя красивые архаизмы, напирая на них... Когда же неизбежно приходилось произнести ему иностранное слово, то он произносил его не иначе как с гримасою легкого неудовольствия.

— Вот мы спорим здесь, — обратилась ко мне Инна Юрьевна, — поддержите меня, пожалуйста, мсье Батулин... Сергей

Львович такой недобрый: шагу не уступает мне, а между тем, ах, как я права, как неотразимо права!

– «Блажен кто верует – тепло тому на свете!»^[2] – серьезнейшим образом возразил Карамышев и, с благосклонной улыбкой обратясь ко мне, продолжал: Инне Юрьевне угодно оспаривать значение дворянства в деревне и опровергать возможность для этого класса крупной роли. Так как, по мнению Инны Юрьевны, дворянство должно служить только целям культуры, – и это весьма справедливо, – то оно и должно будто бы, сообразно с этим, идти туда, где служение этим целям более возможно, – так кажется Инне Юрьевне, – то есть в столицы и вообще в крупные центры. Там служить, образовывать изящную бюрократию, поддерживать салоны, давать направление искусству... и все так далее, в этом же роде.

– Ах, непременно, непременно, мой милый Сергей Львович, иначе – как это говорится? – наша песня споется... Что деревня? Вы не поверите, как трудно, как невозможно почти, жить здесь порядочно... И притом, кто нас окружает – кулаки, попы, целовальники!.. А между тем, средства нужны, и их неоткуда взять... Ах, вы говорите: ра-ци-о-наль-ное хозяйство... Бог мой, идите вы с Марком Николаевичем и смотрите на весь этот наш рационализм... Все, все есть! и плуги там, и веялки, и скоропашки, все, все... Ну, и что же? – ничего. Наши милые мужички все это поломали, все испортили, все поворовали... О, вы не знаете, как все это

тяжело; вы большой идеалист, Сергей Львович, вы поэт... Но поживите здесь, и вы увидите... Я помню, – я тоже идеальничала... О, я думала облагородить деревню, превратить ее в то, что она есть в этой милой, милой Англии... Я думала встретить здесь людей, чутких к цивилизации, я думала встретить здесь сословие... И что же! (Инна Юрьевна горько всплеснула руками) я нашла здесь дикарей... Все, что было пообразованней, поизящней, все, что одарено было более благородными инстинктами, – все бежало отсюда, бежало в министерства, в гвардию, за границу... Я одна, как видите, борюсь до конца... И что же? Вот уже старухой (она кокетливо оправила платье) прихожу к тому же: бежать, бежать и бежать отсюда...

Всю эту реплику Карамышев выслушал очень сдержанно и только два раза позволил себе не без тонкости улыбнуться.

– Какое же ваше мнение? – обратился я к нему.

Он немного помолчал и затем ответил с серьезностью:

– Мое мнение таково. Наше сословие весьма недально-видно поступает, устремляясь в бюрократию. Я, конечно, не сословные интересы имею в виду, предполагая так, но интересы вообще государства. Мы важны тем, что мы единственные носители культуры. Составы нашего государственного организма несомненно жизненны, но согласитесь, они грубы; исключение составляем мы. И вот потому-то мы должны, наконец, получить наше значение. Служа в департаментах и министерствах, вращаясь при дворе и в гвардии, мы значе-

ние это только утрачиваем. Это, впрочем, только мое мнение. Я допускаю службу, как школу, и затем домой, господа!.. В земство, в приход, в деревню!.. Пора, наконец, схватиться за ум. Наши земли расхищены, наше влияние уничтожено, наши статуи и картины проданы с молотка, – нам пора вернуть это. Нам пора занять подобающую нам роль, – роль просветителей и вождей народа. Эта роль принадлежит нам по праву. Мы должны, наконец, образовать... джентри^[3]; мы должны создать провинцию; должны сотворить настоящее, истинное европейское... self-government!¹ Школы, больницы, приюты, суд, полиция, все это должно, наконец, принять истинно просвещенные формы и проникнуться нашим цивилизирующим влиянием. Пусть не Колупаев^[4] с одной стороны и не нигилист с другой несут свое воздействие деревне, а люди благородной традиции, люди-преемственной и просвещенной культуры. Польза народа, с одной, и высшее развитие культурных стремлений, с другой стороны, – вот наше правило и вот, несомненно, наше знамя.

– Ах, все это мило, все это хорошо, все это очень красноречиво, но... поэзия, поэзия! – восклицала Инна Юрьевна.

– Боже мой, все спорят... Да когда же будет конец! – раздалось в дверях. Я обернулся и очутился лицом к лицу с девушкой лет шестнадцати, высокой, стройной, одетой скромно и со вкусом. Инна Юрьевна торжественно и снова с некоторой гордостью заявила мне, что это дочь ее Люба, и затем

¹ Самоуправление (англ.).

познакомила, нас. Люба осторожно скользнула по мне пристальным взглядом и обратилась к жениху:

– Надеюсь, ваше красноречие иссякло, наконец, и вы пойдете со мною полоть резеду, – произнесла она своенравно.

Madame Обозинская укоризненно поглядела на нее, но та только нетерпеливо тряхнула головкой.

– Полоть не пойду, – снисходительно усмехаясь, отозвался Карамышев, но сопровождать вас рад, mademoiselle.

Люба почему-то вспыхнула, сделала низкий реверанс перед женихом и стремительно вылетела из комнаты.

– Ах, как еще молода! – с кроткой улыбкой произнесла Инна Юрьевна, как бы извиняясь за дочь.

Я видел, как бледное лицо Карамышева подернулось румянцем и как оживились его темные глаза в присутствии Любы. Он принужденно попросил извинения у Инны Юрьевны и, хотя степенничая, но все-таки и поспешая заметно, вышел вслед за девушкой.

– О, молодость, молодость! – счастливо вздыхая, воскликнула madame Обозинская по уходе Карамышева, и затем поспешила посвятить меня в свои «маленькие тайны» (как выраилась).

– Вы знаете Карамышева? Знаете, богатое такое имение Большая Карамышевка? Это его. Богач, очень образованный, очень развитой молодой человек... Представьте – камер-юнкер, блестящая карьера, связи, и вот идеи эти, идеалы... Ах молодежь, молодежь!... Но что делать – я мать (тут

она снова повторила, что она большая либералка), я не могла победить сердце и согласилась... Конечно, Люба еще молодая, — и только благодаря домашнему воспитанию она знает еще что-нибудь... О, она много читает!.. Но пройдет год, — мы условились ждать, — и, я уверена, она сумеет поставить себя в любом салоне... О, у ней моя кровь!.. Вы замечаете — она очень неровна, но не правда ли, как это хорошо, что нет в ней этой институтской выправки, этой, этой... бездушной светскости, о которой, помните, так зло и так справедливо отзывался Лев Толстой... Я предпочитаю маленькую нервность, маленькую небрежность — это придает что-то такое пикантное... Не правда ли?.. О, я не говорю, что всегда в большом обществе, например в великосветском салоне... Но вы ведь позволите причислить себя к близким-близким знакомым нашим, не правда ли?.. — и потом быстро переходя к другой теме: — ах, мы скоро обедаем, не хотите ли пройти в свою комнату? О, ваши милые, простые комнатки, как я помню их!.. Цел ли ваш исторический кофейник?.. И ваше миниатюрное зеркало?.. Как я была счастлива, как мы вам обязаны!.. Но простите мне, старухе (она опять кокетливо улыбнулась), я ужасно болтлива... Это признак дряхлости, говорят?.. Будьте добры, милый Николай Васильевич, позвоните... вон около вас сонетка... человек проводит вас. И приходите в столовую. Мы обедаем по «гонгу» — по-английски, как видите... Я надеюсь, вы погостите у нас... Как, только сегодня!.. О нет, мы не отпустим вас... Вы еще не ви-

дали Липяги... Марк Николаевич будет очень рад... Он тоже большой хозяин... Хотя, конечно, душу-то хозяйства составляют другие... (Она скромно и сострадательно улыбнулась.) Он добрый, он милый, но вы не поверите, какой отсталый, какой рутинер... Вот вы увидите, он вам покажет там...

К столу появился и Марк Николаевич. В белом костюме из пике, в свежем белье и светлом галстуке он выглядел естественнейшим ком-иль-фо. Мне он чрезвычайно обрадовался.

– А я хлопочу, хлопочу все... а?... – зачастил он, неизвестно для какой надобности отводя меня в уголок, – утром в поле, днем в поле, в поле, в поле... а?... сев, тово... Просо, тово... и гречиха... Хлопочу все... – и все неотступно жал мне руку и заглядывал в глаза.

Кроме лиц, уже известных читателю, к обеду явился Исая Назарыч, бывший помещик трех душ, а теперь бедняк страшнейший и в душе ужасный собачник. Впрочем, держал он себя с примерной скромностью и, очевидно, стыдился и неуклюжего сюртучка своего из какой-то сквернейшей материи лимонного цвета, и своего смятого белья, и огромных волосатых рук, непристойно вылезавших из более чем коротких рукавов. Он явно церемонился и почти ничего не ел. Кусочек котлетки (старательно очищенной от шпината) и ложки три супу, вот все, что решился он скушать, хотя я уверен – голод его разбирал сильный. Вероятно, он считал неприличным наедаться. Инна Юрьевна не замечала его.

Господин Карамышев обращался к нему с преувеличенной любезностью. Марк Николаевич, кроме своей тарелки, кажется ничего не видел и ни о чем не думал. Ел он так, что у него за ушами пищало... Люба как будто скучала и явно чем-то была недовольна. Держала она себя с какой-то холодной педантичностью и до жестокости прилично. Глаза ее были тусклы и безжизненны... Но к концу обеда это настроение внезапно преобразилось. Игривая усмешка засветилась на ее губках. В глазах, теперь уже глубоких и темных, загадочным лучом промелькнуло какое-то своенравное ухарство... Лукаво сдвинув свои тонкие брови, она набрала целый ворох пирожного Исаие Назарычу и прелюбезно вступила с ним в разговор. Она спросила его, решился ли он, наконец, сделать предложение купчихе Свинчуткиной и узнал ли, отчего у ней такая неприличная фамилия, и осведомился ли, так же ли она будет обтягивать живот, как обтягивает теперь... («Фи!...» – протянула Инна Юрьевна, а Карамышев сделал легкую гримасу.) Она спросила, здоровы ли его собаки, как поживает Звонок, как поживает Задорка? Зажила ли нога у Стрекозы и есть ли щенята у Жигуны?

Исаия Назарыч, при обращении к нему Любы, неожиданно побагровел и вспотел, но вместе с тем и повергся в неизъяснимое блаженство. С горячностью заявил он о благополучии собак своих, о числе щенят у Жигуны, о достоинстве кобеля, отца этих щенят, о преуспевании его дивного голоса (Исаия Назарыч питал преимущественную страсть к гон-

чим). О купчихе Свинчуткиной заявил он, что еще не решился и что вообще намерен терпеть до конца... Насчет живота заявил негодование, а насчет фамилии – думает, что от свиньи. Говорил он спешно, захлебываясь и волнуясь, и имел нехорошую привычку уснащать речь свою словом «понимаете» и такими эпитетами, как «гнида», «вша» и т. п. Выходило и забавно и неприлично немножко. Инна Юрьевна морщилась, от времени до времени устремляя на дочь беспокойные взгляды. На губах Карамышева играла снисходительная улыбка. Благовоспитанные лакеи, торчавшие за нашими стульями, скромно потупляли свои взоры...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

«Герман и Доротея» (1797) – поэма Гете. Чтобы возвеличить тихую семейную жизнь немецкого бюргерства, Гете написал свою поэму в духе античных идиллий.

2.

«Блажен, кто верует, – тепло тому на свете» – цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума».

3.

Джентри, (англ. gentry, от genteel – благородный) – английское среднепоместное обуржуазившееся дворянство, «новое дворянство», которое стало значительной общественной силой благодаря тому, что играло главную роль в органах местного самоуправления и в парламенте. Высшие слои джентри в союзе с крупной буржуазией в результате английской буржуазной революции XVII века овладели властью. Рассуждения Карамышева отражают настроения, типичные для русского либерального дворянства пореформенного времени, когда либеральная печать рекламировала «английское джентри», как средство борьбы против оскудения российского дворянского землевладения. Карамышев видит в образовании «джентри» один из путей защиты и гарантии дворянских сословных привилегий.

4.

Колупаев – персонаж произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1878–1879), нарождающийся русский буржуа. Имя Колупаева стало нарицательным для обозначения капиталистического хищника.